
ЛАРА ВЕЙН
ХРОНИКИ КАРАНТИНА
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА

Лара Вейн

Хроники Карантина. Янтарная комната

«Автор»
2026

Вейн Л.

Хроники Карантина. Янтарная комната / Л. Вейн — «Автор», 2026

На северный остров приходит посылка без обратного адреса: мутный кусок янтаря, в котором под красным светом проступает почерк отца, погибшего двадцать один год назад. Софья Ланская идёт по следу от Царского Села до Кёнигсберга и Совиных гор. Под морем у Янтарного горит огонь, который нельзя украсть. Тот, кто его понесёт, будет решать за всех.

© Вейн Л., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Вместо предисловия 5
Пролог 7
Часть первая. Застывший свет 13
Глава 2. Свет сквозь смолу 17
Глава 3. Канал 22
Глава 4. Колокольчик 26
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Лара Вейн
Хроники Карантина. Янтарная комната

Вместо предисловия

Роман является художественным произведением. Исторические лица и события изображены в нём в вымышленных обстоятельствах; диалоги и частная жизнь исторических персонажей — плод авторского воображения. Все современные персонажи вымышлены, любые совпадения случайны.

Льву

Лёва, это мамина тетрадь.

Папина лежит на верхней полке в сундуке, под твоими зимними вещами, завёрнутая в клеёнку. Толстая, в синей обложке, с пятном от чая на сорок третьей странице. Он писал её полгода, по ночам, при керосиновой лампе, пока ты спал за стенкой. Он писал о себе «Максим сделал», «Максим подумал», потому что так ему было легче признаваться, что он был дураком.

Я так не умею. Я буду писать «я».

Мне это тоже нелегко. Двенадцать лет я читала чужие тексты: шумерские таблички, письма византийских монахов, донесения английских купцов, надписи на колоколах. Я привыкла, что текст пишет кто-то другой. Что «я» в тексте — это всегда не я. А теперь «я» — это я. Софья Андреевна Ланская, тридцать три года, мама. Это страшнее, чем читать литорею на новгородском колоколе.

Тебе сейчас год и десять месяцев. Ты спишь, раскинув руки, как будто летишь, и держишь во сне папин палец. Папы рядом нет — он внизу, у лодки, — поэтому ты держишь мой. Я пишу левой рукой. Почерк будет плохой. Прости.

Я пишу потому, что в феврале нам пришла посылка. И потому, что после этой посылки я узнала о себе, о своём отце и о своём прадеде больше, чем за тридцать два года до неё. И потому, что ты — правнук человека, который однажды, в апреле сорок пятого года, в подвале горящего города, мог выстрелить — и не выстрелил.

Папа написал тебе про Опекунов. Про звонарей Александровской слободы, которые четыреста лет стерегли листы. Про Херсонес. Про Холод.

Я напишу тебе про другую линию. Про ту, о которой не знал даже Ефрем. Про людей, которые три тысячи лет записывали правду не на платине, а на застывшей смоле. Про твоего дедушку Андрея, которого я помню по запаху табака и солёной куртки. И про то, почему у нас в доме на полке над твоей кроваткой лежит кусок янтаря размером с яблоко, а ты, когда научишься говорить фразами, будешь спрашивать, почему он иногда светится.

Папа написал: «Проверь. Всё, что можно проверить, — проверь».

Я скажу по-другому. Считай.

Когда страшно — считай до ста. Когда не знаешь, что делать, — считай. Когда кто-то говорит тебе: «Возьми, это твоё, ты имеешь право», — досчитай до ста, прежде чем ответить.

Это всё, чему меня научил мой папа. Я поняла, сколько это, только этой весной.

Маяк мигнул. Одиннадцать секунд.

Начну.

Мама.

* * *

Факты

Янтарная комната — кабинет, облицованный панелями из резного янтаря. Создана в 1701–1709 годах в Пруссии по замыслу архитектора Андреаса Шлютера; работы вели мастера

Готфрид Вольфрам, Эрнст Шахт и Готфрид Турау. В 1716 году прусский король Фридрих Вильгельм I подарил её Петру I. При императрице Елизавете Петровне комнату перенесли в Екатерининский дворец в Царском Селе, и Растрелли расширил её, добавив, среди прочего, четыре флорентийские мозаики из цветного камня.

В 1941 году комнату разобрали и вывезли в Кёнигсберг, где её смонтировали в Королевском замке под надзором директора художественных собраний города Альфреда Роде. В конце войны её следы теряются. Подлинную Янтарную комнату ищут до сих пор.

В 1997 году одна из подлинных флорентийских мозаик, «Осязание и обоняние», обнаружилась в Германии. В 2000 году её вернули в Царское Село. Воссозданная комната открыта в 2003 году.

Королевский замок Кёнигсберга был разрушен в 1944–1945 годах, его руины снесены в 1968-м.

Около девяноста процентов разведанных мировых запасов янтаря лежат на Самбийском полуострове, у посёлка Янтарный Калининградской области, в слое глауконитовой глины, которую называют «голубой землёй».

Ромове (Ромува) — главное святилище древних пруссов. По хронике Петра из Дусбурга (1326), там жил верховный жрец, Криве. Где оно находилось, неизвестно.

В 1855–1882 годах при углублении фарватера у посёлка Юодкранте на Куршской косе было найдено около четырёхсот янтарных фигурок и украшений эпохи неолита. Большая часть коллекции пропала в 1945 году.

Подземный комплекс «Ризе» в Совиных горах на юго-западе Польши строили в 1943–1945 годах узники концлагеря Гросс-Розен. Его назначение не установлено до сих пор.

Лайнер «Вильгельм Густлофф» затонул в Балтийском море 30 января 1945 года. Это одна из крупнейших морских катастроф в истории. Место гибели — охраняемое морское захоронение.

Все исторические места, упомянутые в романе, существуют. Все документы, ордена и организации, а также события, связанные с ними, вымышлены.

Пролог

Кёнигсберг. 9 апреля 1945 года, 21:40

Карл Ридель, резчик янтаря, семидесяти лет от роду, понял, что сегодня умрёт, когда наверху, над сводами подвала, перестала стрелять артиллерия.

Три дня она не переставала. Три дня и три ночи город трясло так, что с потолка подвала сыпалась известь, а свечи гасли от удара воздуха, приходившего сверху, через щели, через камень, через шесть метров кладки, которую клали ещё рыцари Тевтонского ордена. Три дня Карл Ридель сидел в этом подвале под южным крылом Королевского замка — там, где когда-то хранили вино курфюрстов, а потом хранили ящики, которые привезли осенью сорок первого из-под Ленинграда, — и слушал, как наверху умирает город.

А теперь стало тихо.

Он знал, что это значит. Он прожил в Кёнигсберге всю жизнь. Он видел, как в четырнадцатом году через город шли русские пленные, а в восемнадцатом — немецкие солдаты с красными бантами. Он видел, как в тридцать третьем на Королевской горе жгли книги, а в тридцать восьмом — синагогу на Линденштрассе. Он видел, как в прошлом августе с неба пришёл огонь, и за две ночи сгорел весь старый город, и собор, и университет, и Кнайпхоф, где он родился, и мастерская его отца на Фляйшбанкенштрассе.

Тишина после такого грохота значит одно. Те, кто стрелял, вошли.

* * *

Подвал был длинным, низким, сводчатым. Кирпичный пол. Кирпичные столбы. В дальнем конце — дверь, обитая железом, запертая изнутри на засов. За дверью — лестница наверх, во двор замка. Двора, наверное, уже не было.

У ближней стены, на ящиках, горела свеча. Одна. Последняя.

А рядом со свечой, на полу, стоял ящик. Небольшой. Дубовый. Сорок на тридцать сантиметров. Окованный по углам медью. Без надписей.

Карл Ридель сидел возле ящика на перевёрнутом ведре, положив на крышку обе руки. Тёмные, сухие, в мелких белых шрамах — шестьдесят лет резца, шестьдесят лет янтарной пыли, въевшейся в кожу так, что её не брало мыло. Руки не дрожали.

Остальные ящики — больше сотни, длинные, плоские, с надписями по-немецки и по-русски, — стояли вдоль стен. В них лежала Янтарная комната. Та, что сорок лет назад он, мальчишкой-подмастерьем, видел на открытке. Та, которую в сорок первом привезли сюда, в замок, и смонтировали в зале на третьем этаже, и туда водили экскурсии, и господин доктор Роде, директор собраний, читал лекции о прусском гении. Та, которую в январе, когда русские подошли к Инстербургу, снова разобрали и снова уложили в ящики, и господин доктор Роде бегал по замку с бумагами, кричал, что за ящиками придут машины, что их увезут в Саксонию, в Тюрингию, куда угодно, — и машины не пришли.

Карл Ридель не смотрел на эти ящики.

Он смотрел на тот, что стоял у его ног.

* * *

В нём было девятнадцать кусков.

Небольших. С ладонь, с две ладони. Неправильной формы. Мутных, тёмно-медовых, почти коричневых, с белёсыми прожилками. Никакой резьбы. Никакой полировки. Такие куски на любой ярмарке в Раушене продавали туристам по пять пфеннигов за горсть.

Если бы господин доктор Роде заглянул в этот ящик — он бы решил, что старый резчик собирает обрезки.

Господин доктор Роде не заглядывал. Никто не заглядывал. Двести сорок лет никто не заглядывал.

Девятнадцать кусков, которые в тысяча семьсот первом году мастер Готфрид Вольфрам, датчанин, получил из рук человека, назвавшегося резчиком из Пальмникена, — с просьбой вложить их в панели «там, где укажу». Девятнадцать кусков, которые мастер Вольфрам вложил, не спрашивая, потому что человек из Пальмникена заплатил ему за молчание столько, сколько король платил за год работы. Девятнадцать кусков, которые в тысяча семьсот шестнадцатом году уехали в Петербург вместе с комнатой — потому что так решили. Потому что в Петербурге, у русского царя, им было безопаснее, чем в Пруссии, где каждый второй учёный уже копал курганы в поисках Ромове.

И девятнадцать кусков, которые осенью сорок первого Карл Ридель, приглашённый господином доктором Роде как лучший резчик Кёнигсберга, — «помогите нам, мастер, собрать эту головоломку, русские всё перепутали», — тихо, по одному, за три месяца, вынул из панелей и заменил своими.

Своими — точно такими же. Мутными. Тёмно-медовыми. С белёсыми прожилками.

Пустыми.

* * *

Над сводами что-то грохнуло. Не артиллерия — ближе. Потом — голоса. Резкие. Отрывистые. Не немецкие.

Шаги. По двору. По лестнице.

Карл Ридель снял руки с крышки ящика.

Он думал об этом три года. С того дня, когда в замке смонтировали панели и он первый раз за шестьдесят лет жизни подошёл к ним вечером, когда ушли посетители, с маленькой красной лампой — такой, как у фотографов, — и посветил сквозь янтарь. И увидел. То, что видел его отец. И дед. И прадед. И все, до самого первого Криве, жившего в дубовой роще, которой давно нет.

Увидел — и понял, что нельзя оставлять их в стене. Ни в немецкой. Ни в русской. Ни в чьей.

Он думал, что успеет. Что увезёт их в Пальмникен, к сыну. Что спрячет там, где их прятали до того, как Вольфрам вложил их в панели. В голубую землю.

Не успел. В январе дорогу на Пальмникен перерезали. Сына — Эрнсту было шесть, он был у сестры в Пальмникене — он не видел с декабря.

Он не знал, жив ли сын.

Он знал только, что в ящике у его ног — девятнадцать кусков. И что сейчас в эту дверь войдут люди, которые четыре года шли сюда от своих сожжённых городов. И которым будет всё равно, что лежит в ящике у старика.

Или — не всё равно.

* * *

Засов не выдержал второго удара.

Дверь распахнулась. В подвал ворвался свет — не свет, луч, белый, режущий, фонарь. За ним — двое. Трое. В ватниках. В касках. С автоматами. Один сразу ушёл вправо, к ящикам, другой — влево. Третий остался в дверях.

— Хенде хох!

Карл Ридель медленно поднял руки.

Луч фонаря ударил ему в лицо. Он зажмурился.

— Старик, — сказал кто-то по-русски. — Один. Товарищ лейтенант, тут старик.

— Обыскать.

Его обыскали. Быстро. Грубо. Нашли нож — резец, короткий, с костяной ручкой. Отобрали. Нашли табак. Отобрали. Нашли во внутреннем кармане фотографию — мальчик лет пяти в матросском костюмчике на фоне моря. Посмотрели. Сунули обратно.

— Чисто.

Луч фонаря ушёл с его лица. Он открыл глаза.

В дверях стоял лейтенант.

Совсем молодой. Двадцать, двадцать два. Худой, высокий, с запавшими щеками, в шинели, перетянутой ремнём, в шапке со звездой, сдвинутой на затылок. Лицо — серое от копоти и усталости. Глаза — светлые. Серые. Внимательные.

Он смотрел не на Карла Риделя. На ящики вдоль стен.

— Это что? — спросил он. По-немецки. Плохо, с ужасным акцентом, но понятно.

Карл Ридель помолчал.

— Бернштайнциммер, — сказал он.

Лейтенант не понял. Посмотрел на него.

— Янтарная комната, — сказал Карл Ридель. По-русски. Медленно. Он выучил русский в четырнадцатом, когда работал переводчиком при лагере пленных. Тридцать лет не говорил. Слова выходили ржавыми. — Из Царского Села. Которую привезли. В сорок первом.

Лейтенант замер.

Солдат у ящиков присвистнул.

— Товарищ лейтенант, — сказал он. — Это же… Это ж та самая.

— Вижу, — сказал лейтенант.

Он прошёл в подвал. Медленно. Мимо Карла Риделя. Остановился у ящиков. Положил руку на один из них. На надпись. «Царское Село. Панель 4. Не кантовать».

Стоял долго.

— Моя мать, — сказал он вдруг. По-русски. Тихо. Не Карлу — себе. — Моя мать возила меня туда. В тридцать пятом. Мне было двенадцать. Мы стояли в этой комнате, и было солнце, и всё светилось, как мёд. И она сказала: «Коля, запомни. Это самое красивое, что сделали люди». — Он помолчал. — Мать умерла в Ленинграде. В сорок втором. В феврале.

Тишина.

Где-то наверху, далеко, — одиночный выстрел. Потом ещё один.

* * *

Лейтенант повернулся. Посмотрел на Карла Риделя. Потом — на маленький дубовый ящик у его ног.

— А это?

Карл Ридель не ответил.

Лейтенант подошёл. Присел на корточки. Протянул руку к крышке. Посмотрел на старика снизу вверх.

— Можно?

Карл Ридель смотрел на него. На этого мальчишку в шинели, который четыре года шёл сюда от Ленинграда, где в феврале сорок второго умерла его мать. Который мог не спрашивать. Которому никто бы не сказал ни слова, если бы он выстрелил в старика у ящика, а потом открыл ящик сам.

Который спросил.

— Можно, — сказал Карл Ридель.

Лейтенант поднял крышку.

Посмотрел внутрь. На девятнадцать мутных, тёмных, неправильных кусков на выцветшем красном сукне.

— Это что? — спросил он. — Обрезки?

— Нет, — сказал Карл Ридель.

— А что?

Старик долго молчал. Потом медленно, тяжело — колени не держали, три дня на ведре, — опустился на пол рядом с лейтенантом. На кирпич. Взял свечу с ящика. Поднёс к одному из кусков. Близко. Под углом. Так, как учил его отец. Так, как учил отца — дед.

— Смотрите, — сказал он.

Лейтенант посмотрел.

Свет свечи прошёл сквозь янтарь — и на сукне, на дне ящика, на старом красном сукне, проступило. Не тень. Не отражение. Изображение. Маленькое, дрожащее, золотое. Как картинка в волшебном фонаре.

Дерево.

Огромное. Ветвистое. С толстым корявым стволом. А под деревом — люди. Много. В длинных одеждах. Стоят кругом. Подняв руки.

А над деревом, в небе, — что-то. Круглое. Серебряное. С кольцом огней.

Лейтенант смотрел. Долго. Не дыша.

Потом медленно поднял глаза на старика.

— Что это? — спросил он. Шёпотом.

— Это — правда, — сказал Карл Ридель. — Записанная. Три тысячи лет назад. Те, кто стоят под деревом, — мои предки. Пруссы. Их больше нет. Ваши рыцари… нет, наши рыцари… — он поморщился, — те, кто пришёл с крестом семьсот лет назад, вырезали их. Почти всех. Языка больше нет. Богов больше нет. Дуба больше нет. Осталось это. Девятнадцать кусков. И я. Последний.

— А что над деревом?

Карл Ридель посмотрел на него.

— Гость, — сказал он. — Который пришёл с подарком. А они сказали ему: «Нет». — Пауза. — Это единственная запись в мире, лейтенант, где люди сказали «нет». Все вместе. Сразу. Не один, не двое — все. Весь народ. Её нельзя отдавать. Ни вашим. Ни нашим. Никому.

* * *

Лейтенант долго молчал.

Солдаты у стен — тоже. Один, пожилой, с рыжими усами, снял каску. Сам не заметил.

Потом лейтенант медленно закрыл крышку ящика.

— Ефрейтор Скворцов, — сказал он, не оборачиваясь.

— Я.

— Подвал — под охрану. Ящики вдоль стен — не трогать. Утром доложу в штаб. Пусть присылают специалистов. Это — народное достояние. — Пауза. — А этот ящик…

Он посмотрел на старика.

— Этот ящик, — сказал он, — я забираю. Лично. Под мою ответственность. Как обрезки. Для отчёта. Понял, Скворцов?

Ефрейтор Скворцов посмотрел на ящик. На старика. На лейтенанта.

Пожилой, рыжеусый, он прошёл всю войну от Волхова. Он видел, как лейтенант Ланской, двадцати двух лет, в сорок третьем под Мгой вытащил из воронки раненого немца и отдал санитарам, и его потом таскали в особый отдел. Он знал, что лейтенант Ланской не берёт трофеев. Ни часов, ни ковров, ни посуды. Ничего.

— Понял, товарищ лейтенант, — сказал Скворцов. — Обрезки. Для отчёта.

* * *

Они вышли из подвала в половине одиннадцатого.

Старик, лейтенант и ящик.

Город горел. Весь. Небо над ним было красным, низким, дымным, и в этом красном небе чёрными зубьями торчали остовы домов, шпили, трубы. Замок за их спинами — огромный, тёмный, без крыши — горел изнутри, и из пустых окон шёл дым. Улица была засыпана кирпичом, стеклом, черепицей. Пахло гарью, порохом и чем-то сладким, страшным.

Лейтенант нёс ящик под мышкой. Старик шёл рядом. Медленно. Держась за его рукав.

У разрушенного моста через Прегель лейтенант остановился. Поставил ящик на парапет.

— Куда вам? — спросил он.

— В Пальмникен, — сказал Карл Ридель. — Там мой сын. Если жив.

— Пальмникен ещё у ваших.

— Знаю.

Лейтенант смотрел на него.

— Вы не дойдёте, — сказал он.

— Знаю.

Тишина. Над рекой летел пепел. Чёрный, лёгкий, как снег.

Карл Ридель положил руку на ящик.

— Лейтенант, — сказал он. — Как вас зовут?

— Ланской. Николай.

— Николай. — Старик кивнул. — Я не дойду до сына. Значит, я должен отдать это тому, кто дойдёт. Так у нас. Так всегда было. Тот, кто держит, — отдаёт тому, кто не взял. — Он помолчал. — Вы не взяли. Вы спросили. Значит — вам.

— Мне? — Лейтенант смотрел на него. — Я… Я не знаю, что с этим делать.

— Никто не знает, — сказал Карл Ридель. — Надо просто держать. И отдать сыну. Когда вырастет. А он — своему. А тот — своему. — Он сунул руку во внутренний карман. Достал фотографию мальчика в матросском костюме. Протянул лейтенанту. — Это Эрнст. Мой сын. Если найдёте его — когда-нибудь — скажите, что отец отдал ящик тому, кто спросил. Он поймёт.

Лейтенант взял фотографию.

— А вы?

Карл Ридель улыбнулся. Устало. Беззубо.

— А я, — сказал он, — посижу здесь. У реки. Я здесь родился. На Кнайпхофе. Вон там. — Он кивнул на тот берег, где на острове чернел обгоревший остов собора. — Мне семьдесят лет, лейтенант. Я видел, как этот город строили, и видел, как он сгорел. Мне больше некуда идти.

* * *

Лейтенант Николай Ланской ушёл в одиннадцать.

С ящиком под мышкой. С фотографией мальчика в нагрудном кармане гимнастёрки. С девятнадцатью кусками мутного янтаря, на которых три тысячи лет назад народ, которого больше нет, записал, как сказал «нет».

Он обернулся один раз. На мосту.

Старик сидел на парапете. Спиной к горящему замку. Лицом к реке. Смотрел на остров, где когда-то родился.

Утром его там не было.

Николай Ланской никогда не узнал, что с ним стало.

Но через двенадцать лет, в пятьдесят седьмом, когда он работал мастером на янтарном комбинате в посёлке, который больше не назывался Пальмникен, к нему в цех пришёл устраиваться молодой рабочий. Худой, светловолосый, молчаливый. Немец, оставшийся после выселения, — таких было мало. С фамилией, которую в отделе кадров записали с ошибкой.

Николай посмотрел на его лицо.

Потом достал из нагрудного кармана фотографию. Старую, мятую, с загнутыми углами. Мальчик в матросском костюмчике на фоне моря.

И положил её на верстак перед молодым рабочим.

Тот посмотрел.

Побелел.

Поднял глаза.

— Откуда? — спросил он. По-русски. С акцентом.

— Твой отец отдал, — сказал Николай Ланской. — В сорок пятом. Девятого апреля. У моста на Прегеле. И ещё кое-что отдал. Пойдём. Покажу.

Часть первая. Застывший свет
Глава 1. Посылка

Остров. 2 февраля 2029 года

«Мы будем рядом. Под их ногами, над их головами, за их спиной. Они будут проходить мимо нас каждый день — и не увидят».

Документ из Либереи. Запись Атлантиды. Лист сорок восьмой, поля.

Катер пришёл в четверг, в одиннадцать сорок, на двадцать минут раньше обычного.

Я помню это, потому что считала. Я всегда считаю, когда жду катер. От первой точки на горизонте до причала — обычно четыреста двадцать — четыреста пятьдесят. При встречном ветре — больше. Второго февраля ветер был попутный, с юго-запада, мягкий для зимы, и катер дошёл за триста восемьдесят шесть.

Ты сидел у меня на руках, в комбинезоне, похожем на синюю подушку, и смотрел на чаек. Ты тогда говорил четыре слова: «мама», «папа», «дай» и «ап». «Ап» значило всё, что летает. Чайки были «ап». Самолёт, раз в месяц проходивший высоко над островом, — «ап». Снег — тоже «ап».

— Ап, — сказал ты, показывая на чаек.

— Ап, — согласилась я.

Папа стоял на причале. В свитере, без шапки, с тёмной бородой, которая за полтора года на острове выросла до середины груди. Марта говорила, что он стал похож на Олафа, только Олаф рыжий, а папа — нет. Он ловил швартов.

Катер был маленький, рыбацкий, переделанный под почтовый. Шкипер — Эйвинд, молодой, молчаливый, с серьгой в ухе. Раз в неделю он привозил на остров почту, хлеб, бензин для генератора, лекарства по списку Марты и иногда — одного-двух туристов, которых в феврале не бывало никогда.

В тот четверг туристов не было.

Была почта.

* * *

Почты нам не приходило. Никогда.

Ты должен это понять, Лёва, чтобы понять всё остальное. Полтора года мы жили на острове, о котором никто не знал. Жора знал — через канал, не адрес. Гиви знал страну, но не остров. Ветлугин знал, что мы «на севере». Больше никто.

Нам не писали писем. Мы не получали газет. Продукты привозил Эйвинд по списку, который папа раз в неделю отдавал ему в руки, на причале. Счёт за аренду дома оплачивал Олаф, а мы отдавали Олафу наличными. Наличные приходили раз в квартал, тоже через людей, о которых я не напишу даже тебе.

Нас не было.

Так было нужно. Папа объяснил тебе почему. Нас искали. Не одна страна — все. Потому что мы были последними, кто видел Архив до того, как пришёл Холод. Потому что они думали, что у нас что-то осталось. Копия. Фотография. Лист.

Они не знали, что у нас осталась только я. Моя память. Сорок девять листов Либереи, которые я помню наизусть, до последнего знака на полях.

Поэтому — никаких писем.

* * *

Эйвинд кинул на причал мешок с хлебом. Канистру. Коробку из аптеки для Марты.

Потом сунул руку за пазуху. Достал свёрток. Небольшой. В коричневой бумаге. Перевязанный бечёвкой.

И протянул папе.

Папа не взял.

Я видела его спину. Как она стала прямой. Совсем прямой, как доска. Он стоял на причале, на ветру, и смотрел на свёрток в руке Эйвинда — и не брал.

— Это нам? — спросил он. По-английски.

Эйвинд кивнул. Пожал плечами. Сказал что-то на своём языке. Потом, с трудом, по-английски:

— Post office. Mainland. For the lighthouse house. No name.

Для дома у маяка. Без имени.

Папа взял. Двумя пальцами. Как берут что-то горячее.

Посмотрел на бумагу.

Потом повернулся и посмотрел на меня.

И я поняла, что надо считать.

* * *

Один. Два. Три.

Ты на руках у меня завозился. Почувствовал. Дети всё чувствуют.

Восемь. Девять. Десять.

Папа шёл по причалу ко мне. Медленно. Свёрток он держал перед собой, на вытянутой руке, как будто тот мог взорваться. Может быть, он и думал, что может.

Пятнадцать.

— Соня, — сказал он тихо, подойдя. — Иди в дом. С Лёвой. Я посмотрю сам.

— Нет.

— Соня.

— Мы договорились, — сказала я. — Тогда. В цистерне. Не ты. Мы.

Он смотрел на меня. Долго. Ветер трепал ему бороду.

— Ладно, — сказал он. — Но Лёву — к Марте.

С этим я спорить не стала.

* * *

Марта жила в двух километрах. В посёлке. Там было одиннадцать домов, церковь, причал, школа на шесть учеников и магазин, который открывался по вторникам и пятницам. Марте было шестьдесят четыре. Она принимала тебя в ту ночь, когда ты родился, и с тех пор считала тебя немного своим. Когда я принесла тебя к ней в тот четверг, без звонка, посреди дня, — она посмотрела на моё лицо и ничего не спросила.

Она вообще никогда ничего не спрашивала.

Она взяла тебя на руки. Ты сказал «ап» и показал на её кошку. Марта засмеялась.

— Go, — сказала она мне. — Go. He's fine.

Я пошла.

Два километра обратно по камням я считала шаги. Тысяча девятьсот сорок. Папа как-то посчитал их, в ту ночь, когда шёл за Мартой в шторм. С тех пор это было наше число. Тысяча девятьсот сорок — это расстояние между нами и помощью.

* * *

Он ждал меня на кухне.

Свёрток лежал на столе. Нераспечатанный. Рядом — нож. Ножницы. Фонарь. Резиновые перчатки из Мартиной аптечки. И его старый газоанализатор, с которым он полжизни лазил по московским коллекторам и который привёз сюда, на остров, в рюкзаке, потому что «никогда не знаешь».

Газоанализатор молчал.

— Я проверил, — сказал папа. — Ничего. Не тикает. Не пахнет. Не фонит. — Он помолчал. — Тяжёлый. Граммов четыреста.

Я села напротив. Посмотрела на свёрток.

Обычная почтовая бумага. Коричневая, плотная. Бечёвка — льняная, грубая. Марки — местные, три штуки, с птицами. Штемпель — почтовое отделение на материке, в том городке, куда Эйвинд ходил по понедельникам. Дата — двадцать девятое января.

Адрес. Написан от руки. Печатными латинскими буквами. Ровно. Аккуратно.

Название острова. Название маяка. «The keeper's house».

Дом смотрителя.

И ничего больше. Ни имени получателя. Ни обратного адреса.

Я смотрела на почерк.

— Мужской, — сказала я. — Левша. Видишь — наклон влево, и буквы чуть смазаны слева направо, рука тащится по написанному. Пишет печатными, потому что не хочет, чтобы узнали обычный почерк. Но «е» выдаёт. Видишь? Он пишет «е» с хвостиком вниз. Так пишут те, кто учился писать кириллицей. Русская «е» в прописи.

Папа смотрел на меня.

— Он русский, — сказал он.

— Или учился в русской школе.

Тишина. Генератор за стеной гудел. Маяк — днём он не горел — стоял за окном, белый, с красной полосой.

— Открывай, — сказала я.

* * *

Он открывал медленно.

Надел перчатки. Разрезал бечёвку ножом — не развязал, разрезал, чтобы не трогать узел. Отложил бечёвку в сторону. Развернул бумагу. Один слой. Второй.

Под бумагой — газета.

Русская. Калининградская. «Янтарный край». Номер от двенадцатого января двадцать девятого года. Скомканная, мягкая, в неё было завёрнуто что-то круглое.

Папа развернул газету.

И мы оба замолчали.

* * *

На газете, на кухонном столе, в сером февральском свете из окна, лежал камень.

Нет. Не камень.

Янтарь.

Кусок размером с яблоко. Неровный, бугристый, не обработанный — такой, каким его выносит море на берег после шторма. Цвет — тёмный мёд. Почти коричневый. Мутный, с белёсыми прожилками внутри, как с молоком. Он не светился. Не блестел. Он был тусклым и тяжёлым, как камень.

Я смотрела на него — и вдруг подумала: я видела такой.

Не такой же. Не этот. Но — такой. Тёмный, мутный, некрасивый кусок янтаря. Давно. В детстве. В руках у папы. Не у твоего папы, Лёва. У моего.

Я не могла вспомнить где.

— Янтарь, — сказал твой папа. Медленно. — Балтийский. Необработанный. — Он поднял газету за край. Посмотрел на заголовки. — Калининград.

Я не ответила.

Под янтарём, на газете, лежала карточка.

Маленькая. Белая. Плотная. Без надписей с одной стороны.

Папа перевернул её пинцетом.

На обороте — две строчки. От руки. Не печатными — обычным почерком. Мужским. С наклоном влево.

Первая строчка — по-русски.

«Колокол молчит. Янтарь — нет».

Вторая — одна буква.

«А.»

* * *

Мы молчали долго.

Я считала. Не вслух. Двадцать. Тридцать. Сорок.

— Андрей, — сказал папа наконец.

Он сказал это тихо. Так, как говорят имя человека, которого считали мёртвым. Мы видели открытку. Ту, что Константин передал нам через Гиви, через Жору, через канал. Пасхальную. С вербой. Которую кто-то положил в почтовый ящик Елены Феодоровны в Балаклаве — руками, без марки — за неделю до того, как она умерла.

«Колокол молчит. А.»

Мама — то есть я — тогда сказала: «Он бегает быстрее нас».

Я хотела в это верить. Папа хотел. Полтора года мы не говорили об этом вслух. Как будто боялись, что если скажем — окажется неправдой.

Он вынырнул. Из трещины под цистерной. Туда, куда двадцать пять веков уходила вода. За сорок ударов сердца до того, как Холод закрыл Архив и камень ушёл вниз.

Он жив.

И он знает, где мы.

* * *

— Он знает, где мы, — сказал папа. Вслух. То, о чём я думала.

— Да.

— Если знает он — может знать кто-то ещё.

— Да.

— Соня. — Он смотрел на янтарь. — Это значит — уходить. Сегодня. С Лёвой. Эйвинд ещё у причала, он уходит в два. Мы успеем.

— Нет.

Он поднял на меня глаза.

— Если бы он хотел нас сдать, — сказала я, — он бы не прислал посылку. Он бы прислал людей. Он умеет. Он девять лет этим занимался. — Я помолчала. — Он прислал янтарь. И написал: «Янтарь — нет». Не молчит. Максим, он хочет нам что-то сказать.

— Что?

Я смотрела на мутный тёмный кусок на газете.

Тот, что я видела в детстве. В руках у папы. Где?

— Не знаю, — сказала я. — Пока.

* * *

Папа долго сидел, глядя на янтарь.

Потом встал. Подошёл к шкафу. Открыл нижний ящик — тот, где лежали инструменты, батарейки, запасные лампы для маяка, которые Олаф оставил нам «на всякий случай».

Достал фонарь. Маленький, налобный, старый. Тот самый, с которым он спускался в Неглинку, в Хапиловку, в подвал под Распятской колокольней. Он почему-то так его и не выбросил, хотя лампа давно светила тускло.

Он нажал кнопку. Раз. Два. Три. Белый. Яркий белый. И — красный.

Красный свет. Для работы в темноте, чтобы не слепить глаза.

Тот, при котором мы впервые прочитали первый лист Либереи. В Москве. В Жориной квартире. На обоях в цветочек.

Он посмотрел на меня.

Я — на него.

— Задёрни шторы, — сказала я.

Глава 2. Свет сквозь смолу

Остров. 2 февраля 2029 года

«Они пишут на камне, на глине, на коже. Всё это гниёт, трескается, горит. Мы пишем на свете. Свет не гниёт».

Документ из Либереи. Запись Шамбалы. Лист седьмой, поля.

Шторы на кухне были из старой простыни.

Я сшила их сама, в первую весну на острове, когда ты ещё не родился, а я ходила по дому с огромным животом и не знала, куда себя деть. Белая простыня в мелкий голубой цветочек. Марта отдала. Сказала: «Мне не нужна. Мне всё равно на ней не спится».

Белое пропускает свет. Днём на кухне от этих штор было светло и мутно, как в молоке.

Папа завесил окно сверху своей курткой. Чёрной, непромокаемой. Прибил гвоздём. Потом — одеялом. Потом подоткнул края.

Стало темно.

Совсем темно. Только тонкая полоска под дверью в сени. Только красный огонёк генератора за стеной, через щель.

Я сидела у стола и слушала, как бьётся сердце. Своё. Быстро. Слишком быстро.

— Готова? — спросил папа из темноты.

— Нет.

— Я тоже.

Он щёлкнул фонарём.

* * *

Красный свет.

Тусклый, глубокий, как свет углей в печке. Он упал на стол. На газету. На янтарь.

Янтарь вспыхнул.

Не засветился — именно вспыхнул. Изнутри. Как будто там, в тёмной мутной глубине, кто-то зажёг лампу. Белёсые прожилки стали золотыми. Мутность — прозрачностью. Кусок, который при дневном свете был тусклым и тяжёлым, как камень, вдруг стал похож на каплю мёда, в которую бросили солнце.

Я перестала дышать.

— Соня, — шепнул папа. — Стена.

Я повернула голову.

* * *

На стене, на беленой стене над кухонным столом, над полкой с банками и над твоим детским стульчиком, — было изображение.

Неровное. Дрожащее. Золотое на красном. Как будто кто-то повесил на стену витраж, сквозь который светит закат.

Комната.

Я увидела её сразу, целиком, — и узнала прежде, чем поняла, что узнала.

Высокие стены. Панели. От пола до карниза. Все — из янтаря. Тысячи кусочков, подогнанных друг к другу, как чешуя. Рамы — золочёные, резные, с завитками, с амурами, с гирляндами. Зеркальные пилястры. А в центре каждой стены, в тяжёлой золочёной раме, — картина. Не картина. Мозаика. Из цветного камня. Фигуры. Пейзаж. Руины.

— Янтарная комната, — сказала я. Шёпотом.

Папа не ответил.

Изображение дрожало. Плыло. Я смотрела — и видела, как оно меняется. Нет, не меняется — проявляется. Как фотография в кювете. Детали. Лепнина на потолке. Паркет — узор-

чатый, тёмный и светлый. Окно справа — высокое, с полукруглым верхом. За окном — свет. Летний. Яркий.

Не Царское Село. Не та комната, что сейчас.

Та. Подлинная. До сорок первого.

Я видела фотографии — чёрно-белые, довоенные, их все видели. Но я никогда не видела её в цвете. Никто не видел. Никто из живущих.

А теперь — видела. На стене кухни в доме у маяка. Золотом на красном.

* * *

— Смотри, — сказал папа. — Там. Справа. Вторая панель.

Я посмотрела.

На второй панели справа от окна — среди тысяч кусочков янтаря, медовых, золотых, коричневых, — один светился иначе.

Ярче. Белее. Как будто внутри него горела отдельная лампа.

Небольшой. Неправильной формы. С ладонь. На уровне человеческого плеча.

А под ним, рядом с ним, — ещё один. Пониже. И ещё — у самого пола, в углу. И на противоположной стене — я теперь видела — ещё. И ещё. Они горели в янтарной стене, как звёзды в небе, — разрозненные, на первый взгляд беспорядочные.

Но не беспорядочные.

Я начала считать.

Один. Два. Три.

На изображении было видно две стены и угол. Я насчитала одиннадцать светящихся кусков.

Одиннадцать.

— Созвездие, — сказал папа. Медленно. — Они стоят как созвездие. Или как… — Он замолчал. — Соня. Как пикеты.

— Что?

— Пикеты. Геодезические. Точки съёмки. — Он смотрел на стену, и я видела в красном свете его лицо: сосредоточенное, неподвижное, как у человека, который читает карту. — Расставлены так, чтобы по ним можно было построить сетку. Триангуляцию. Если знать масштаб. Если знать, на что накладывать.

* * *

Он протянул руку к фонарю. Чуть повернул.

Изображение дрогнуло. Поплыло.

И сменилось.

Комнаты больше не было. Была — темнота. Красная, глубокая, бархатная. И в этой темноте, медленно, одна за другой, как проступают буквы на мокром стекле, когда на него дышишь, — проступали линии.

Буквы.

Русские. Рукописные. Перевёрнутые — зеркально, как в отражении. Неровные, с сильным наклоном вправо. Крупные.

Я читала их, не думая, — привычка, двенадцать лет зеркальных текстов, — и прочитала прежде, чем поняла, что читаю.

«Соня».

Три точки. Как будто рука остановилась.

«Считай до ста».

Пауза. Строчка ниже.

«Я рядом».

И под этим — не буква. Знак. Маленький. Кружок. В кружке — две вертикальные палочки. Одиннадцать. И над кружком — три коротких штриха, расходящихся вверх. Как лучи.

Маяк.

* * *

Я не помню, что было потом.

Папа рассказал мне. Позже. Вечером. Когда я уже могла слушать.

Он сказал, что я встала. Что опрокинула стул. Что подошла к стене и положила ладонь на буквы — прямо на свет, — и свет лёг мне на руку, и буквы проступили на коже, золотом, перевёрнутые. Что я стояла так и молчала. Минуту. Две. Что он позвал меня — я не ответила. Что он выключил фонарь — и в темноте услышал, что я считаю.

Вслух. Ровно. Медленно.

До ста.

Потом — снова. С единицы.

Он сказал, что я досчитала до ста четыре раза. Потом села на пол у стены, прямо там, под полкой с банками, и сказала одно слово.

«Папа».

* * *

Я расскажу тебе, Лёва, про этот знак. Про кружок с одиннадцатью и тремя лучами.

Мой папа — твой дедушка Андрей — был штурманом. Я рассказывала твоему папе, в бомбоубежище, над гречкой. Сухогрузы. Мурманск — Роттердам — Буэнос-Айрес. Полгода в море. Месяц дома.

Когда он уходил в море, он оставлял мне записки. По одной на каждый день. Сто восемьдесят записок. Он писал их ночами, перед рейсом, на кухне, и складывал в жестяную коробку из-под монпансье, и коробку ставил мне на подоконник. Каждое утро — одна записка. «Сонька, сегодня в школе будет контрольная. Не бойся. Ты всё знаешь». «Сонька, сегодня я прохожу Гибралтар. Посмотри на карту». «Сонька, сегодня полнолуние. Я смотрю на ту же луну».

И каждую записку он подписывал этим знаком.

Кружок. Одиннадцать. Три луча.

Я спросила его однажды — мне было лет семь, — что это значит. Он засмеялся. Сказал: «Это маяк. Мой маяк. Интервал — одиннадцать секунд. Есть такой на севере. Когда-нибудь покажу».

Не показал.

Прислал открытку. Из какого-то северного порта. С белой башней с красной полосой. И на обороте — только этот знак. Больше ничего. Мне было двенадцать. Через месяц его сухогруз не вернулся из Бискайского залива.

Ту открытку я хранила двадцать лет. Потом показала твоему папе. Потом мы нашли этот маяк. Потом приехали сюда. Ты родился здесь, в доме у маяка, который папа обещал мне показать — и не показал.

А теперь этот знак горел на стене кухни. Золотом. Из куска янтаря, который пришёл по почте без обратного адреса.

* * *

Вечером, когда стемнело и ты спал — я забрала тебя от Марты в шесть, ты всю дорогу спал у меня на руках и не проснулся, когда я положила тебя в кроватку, — мы сидели на кухне. Без света. Только печка. Только маяк в окне: свет — одиннадцать секунд — свет.

Янтарь лежал на столе. На газете. Мутный, тёмный, тусклый. Как камень.

— Он мёртвый, — сказала я.

Папа посмотрел на меня.

— Мой папа, — сказала я. — Он мёртвый. Двадцать один год. Сухогруз «Профессор Минкин». Двадцать два человека. Их не нашли. — Я помолчала. — Я знаю, что он мёртвый, Максим. Я знаю это двадцать один год. Я считала до ста три дня. Я похоронила пустой гроб на кладбище в Калининграде, рядом с его дедом. Мне было двенадцать, и я держала мамину руку, и мама не плакала, а я считала.

— Соня…

— Это его почерк, — сказала я. — Я узнаю его почерк из тысячи. Из миллиона. Я прочитала сто восемьдесят его записок девять раз. Я знаю, как он пишет «С», — с длинным хвостом вниз, как крючок. Как он пишет «й» — без кратки, а с точкой. Он всегда так писал. С точкой. Учительница его ругала в школе, а он не переучился.

Я взяла янтарь в руки. Тёплый. Тяжёлый.

— Там, на стене, — сказала я, — «й» в слове «считай» было с точкой.

Папа молчал.

— Он мёртвый, — сказала я. — И он написал мне. Из янтаря.

* * *

Мы сидели долго.

Маяк мигал. Ты сопел за стенкой. Генератор гудел.

— Когда? — спросил папа наконец.

— Что — когда?

— Когда он это написал. Соня. Посмотри на текст. «Считай до ста. Я рядом». Это не письмо мёртвого. Это записка. Как те, в коробке. Короткая. Для ребёнка. — Он помолчал. — Он написал это давно. Когда тебе было — сколько? Десять? Одиннадцать? И как-то… — он посмотрел на янтарь, — как-то вложил это туда. Внутрь. Как в листы Либереи вложили знаки. А потом кто-то хранил это двадцать лет. И теперь прислал. Тебе.

— Кто?

— Андрей.

— Откуда у Андрея — папина записка?

Папа не ответил.

Я смотрела на янтарь.

И вдруг — вспомнила.

* * *

Мне было девять. Или десять. Зима. Калининград. Наша квартира на улице Барнаульской, на четвёртом этаже, с балконом, с которого было видно трубы ТЭЦ и кусочек залива.

Папа был дома. Между рейсами. Поздно вечером. Я должна была спать — и не спала. Я встала попить воды и увидела, что на кухне горит свет. Не обычный — красный. Тусклый. Как у фотографа.

Я подошла к двери. Заглянула в щель.

Папа сидел за кухонным столом. Спиной ко мне. Перед ним на столе — красная лампа. Маленькая, на гибкой ножке. И кусок янтаря. Тёмный. Мутный. Некрасивый. Размером с яблоко.

Он держал янтарь перед лампой. Поворачивал. Медленно. И смотрел на стену.

А на стене — что-то светилось. Золотом. Я не видела что: мне мешала его спина.

Потом он что-то сказал. Тихо. Не мне. Не маме. Стене.

Я запомнила одно слово.

Я его не поняла тогда. Мне было девять. Я думала — это немецкое. Или литовское. Папа знал немножко литовский, у него в экипажах всегда были литовцы.

Только сейчас, на острове, в двадцать девятом году, я поняла, что это было за слово.

— Ромове, — сказала я вслух.

Папа — твой папа — поднял голову.

— Что?

— Он сказал: «Ромове». Мой папа. Тогда. На кухне. Глядя на стену. — Я смотрела на янтарь в своих руках. — Максим. Я знаю это слово. Я прочитала его в двадцать два года в хронике Петра из Дусбурга. Тысяча триста двадцать шестой год. Латынь. «In medio autem nacionis huius perverse, scilicet in Nadrowia, fuit quidam locus dictus Romow».

— Переведи.

— «Посреди этого развращённого народа, а именно в Надровии, было некое место, называемое Ромове». — Я помолчала. — Святилище пруссов. Главное. Там жил Криве. Верховный жрец. Его почитали, как папу римского. Там стоял священный дуб. Там горел огонь, который не гас никогда.

— И где оно?

— Никто не знает, — сказала я. — Его искали двести лет. Немецкие археологи. Польские. Наши. Не нашли.

Маяк мигнул.

— Твой папа, — сказал Максим медленно, — в две тысячи пятом — или когда там — сидел на кухне в Калининграде с красной лампой и куском янтаря и говорил стене «Ромове».

— Да.

— А через двадцать один год после его смерти человек, который убил моего деда, а потом спас нас, присылает тебе этот янтарь. С его запиской внутри. И с Янтарной комнатой.

— Да.

Папа долго смотрел на меня.

— Соня, — сказал он. — Кем был твой отец?

Я открыла рот, чтобы ответить.

И поняла, что не знаю.

Глава 3. Канал

Остров. 3–5 февраля 2029 года

«Они научились договариваться. Мы думали, это хорошо. Потом увидели, о чём они договариваются».

Документ из Либереи. Запись Атлантиды. Лист тридцать третий, поля.

Про наш с Жорой канал я тебе не напишу, Лёва.

Папа тоже не написал. Не потому, что не доверяет тебе. Потому что тетрадь — это бумага. Бумагу можно найти. Прочитать. Скопировать. А канал — это единственная ниточка, по которой мы полтора года знали, что происходит в мире, и по которой мир ничего не знал о нас.

Скажу только, что он медленный. Что на один вопрос уходит сутки, иногда двое. Что ответ приходит кусками, и я собираю его, как мозаику. И что Жора называет его «голубиной почтой двадцать первого века» и жалуется, что из-за нас вынужден держать дома вещь, которую его соседи считают признаком сумасшествия.

В субботу утром папа отправил вопрос.

Короткий. Три пункта.

Первое: что нового у «Прометея».

Второе: что происходит в Калининграде и вокруг. Всё необычное. За последние три месяца.

Третье: всё, что можно найти о сухогрузе «Профессор Минкин». Октябрь две тысячи восьмого года. Бискайский залив.

Я хотела добавить четвёртое. Про отца. Андрей Викторович Ланской, штурман, родился в семьдесят первом, Калининград. Кем он был.

Не добавила.

Я боялась ответа.

* * *

Ответ пришёл в понедельник, к вечеру.

Длинный. Жора никогда не умел коротко. Я расшифровывала его два часа, сидя на кухне с тетрадью и карандашом, а ты ползал у меня под ногами и строил из поленьев башню, которая падала каждые две минуты, и ты каждый раз говорил: «Ап!» — и начинал заново.

Я перепишу тебе ответ так, как он пришёл. Почти дословно. Жора так пишет. Я не буду его исправлять.

* * *

«Привет, пещерные люди.

По пунктам. Как вы любите.

ПЕРВОЕ. Прометей.

Ваш швейцарский приятель официально пропал без вести, вы знаете. Отдел расформировали год назад. Думали — всё, тишина. Нет.

В декабре в совете директоров «Прометей Холдинга» сменился председатель. Старый ушёл на пенсию — тот самый дед из Цюриха, которого вы видели на экране в Архиве. Ему девяносто один. Ушёл тихо, по здоровью.

Новый председатель — женщина. Ирэна Келлер. Шестьдесят лет. Швейцарка. Юрист по международному праву, двадцать лет в советах трёх фондов, потом — в «Прометее», в комитете по этике (смешно, да?). Тихая, аккуратная, ни одного скандала. В прессе — ноль. Фото — одно, с конференции в Давосе, лет десять назад.

Теперь внимание.

Ирэна Келлер — бывшая жена Виктора Штерна.

Развелись в тринадцатом году. Детей нет. После развода она взяла девичью фамилию. Жила одна. Не выходила замуж.

Через месяц после того, как она стала председателем, «Прометей» восстановил отдел перспективных технологий. Под другим названием. «Наследие». Отдел культурного наследия. Финансирование — в три раза больше, чем было у Штерна.

И ещё. Служба безопасности «Прометея» — та самая, «Кербер», где работал ваш Тихий, — тоже переименована. Теперь «Кустос». Это латынь, Соня скажет, что значит.

(«Страж», — сказала я вслух. Папа поднял голову. — «Custos». Страж. Хранитель. Тюремщик».)

Её возглавляет новый человек. Конрад Фосс. Сорок восемь. Немец. Бывший военный, потом частная безопасность. В «Кербере» был заместителем начальника. При Штерне — на вторых ролях. Говорят, Штерн его не любил. Говорят, Фосс за девять лет ни разу не улыбнулся.

Фото Фосса нет нигде. Вообще. Это само по себе о многом говорит.

ВТОРОЕ. Калининград.

Ребята, тут интересно.

а) Царское Село. Ну, не Калининград, но про янтарь. В ноябре Екатерининский дворец получил грант от швейцарского фонда на «комплексное исследование Янтарной комнаты». Фонд — «Наследие Европы». Учредитель фонда — кто бы вы думали? Правильно. Исследование: трёхмерное сканирование, спектральный анализ янтаря, «сравнение с архивными материалами». Сроки — с января по март. Музей счастлив, деньги хорошие.

б) Калининград, Янтарный. Комбинат государственный, туда никто не влезет, это понятно. Но в декабре в Балтийском море, в двенадцати милях от Янтарного — это за пределами территориальных вод, — встало исследовательское судно. Под флагом Мальты. «Нордлихт». Официально — «геологическое изучение шельфа». Наши пограничники его, конечно, пасут. Я посмотрел по транспондеру — стоит на одном месте с двенадцатого декабря. Ничего не бурит. Просто стоит. Слушает.

в) Литва, Куршская коса. В январе в Юодкранте, это литовская часть косы, кто-то купил старый дом рыбака на берегу залива. Дом сто лет никому не был нужен. Купила фирма из Вильнюса. Учредитель фирмы — фирма из Риги. Учредитель фирмы из Риги — фирма из Цюриха. Дальше не копал. Догадываетесь.

г) Польша. Совиные горы. Там есть подземный комплекс, немцы строили в войну. «Ризе». Туристы ходят. В январе один из объектов — «Осувка» — закрыли для посещения «на технические работы». На два месяца. Подрядчик — польская фирма. Учредитель… ну вы поняли.

д) И самое странное. Калининградский областной архив. В январе туда пришёл запрос из Москвы. От некоего «исторического общества». Запрос — на личные дела работников Пальмникенского янтарного комбината за 1946–1960 годы. Конкретно — на одну фамилию. Запрос официальный. Архив выдал.

Фамилия, ребята, — Ланской.

Соня. Это твоя?

ТРЕТЬЕ. «Профессор Минкин».

Нашёл. Было непросто, но нашёл.

Сухогруз, построен в восемьдесят шестом в Польше. Приписан к Калининграду. Шёл из Роттердама в Лиссабон с грузом удобрений. Двадцать второго октября две тысячи восьмого года в Бискайском заливе, в шторм, перестал выходить на связь. Последнее сообщение — в 03:14. Координаты — в ста двадцати милях к северо-западу от мыса Ортегаль. Поиски — пять суток. Испанские спасатели, французские. Нашли спасательный круг. Один. И пятно топлива. Больше ничего. Двадцать два человека.

Расследование — формальное. Причина — шторм, смещение груза, опрокидывание. Дело закрыто в девятом году.

Теперь странное.

Я нашёл судовую роль — список экипажа. Двадцать два человека. Капитан, старпом, второй помощник, третий, механики, матросы, кок.

Второй помощник — Ланской А. В.

Но в портовом журнале Роттердама за двадцатое октября — день отхода — экипаж «Профессора Минкина» значится в количестве двадцати одного человека. Двадцать один. Не двадцать два.

Кто-то не поднялся на борт в Роттердаме. Или поднялся позже — не через порт.

Я не знаю, что это значит. Может — ошибка в журнале. Голландцы тоже люди.

Но я подумал, вы должны знать.

Ж.

P.S. Соня, если тебе надо, я могу копнуть глубже. Про твоего отца. Скажи — и копну. Если не надо — тоже скажи. Я пойму.

P.P.S. Пещерные люди, я не знаю, что у вас там случилось. Но вы три месяца не спрашивали ни о чём, кроме погоды в Москве и курса рубля. А сейчас спрашиваете про Калининград и про корабль. Значит — что-то случилось. Будьте осторожны. Мне нравится, что вы живые.»

* * *

Я дочитала.

Положила карандаш.

Ты сидел у меня под ногами. Твоя башня из поленьев упала в последний раз, и ты не стал её строить заново. Ты смотрел на меня. Снизу вверх. Серьёзно.

— Мама, — сказал ты.

Я взяла тебя на руки.

Папа сидел напротив. Он прочитал ответ через моё плечо, пока я расшифровывала. Он молчал.

— Двадцать один, — сказала я. — Не двадцать два.

— Может быть ошибка.

— Может быть.

— Соня.

— Я знаю, Максим. — Я прижалась щекой к твоей макушке. Ты пах молоком и печкой. — Я знаю, что может быть ошибка. Голландцы тоже люди. Жора прав.

Тишина.

— Ланской, — сказал папа. — Кто-то в январе запросил в Калининградском архиве личные дела Ланских. С янтарного комбината. Сорок шестой — шестидесятый годы.

— Мой прадед, — сказала я. — Николай Ланской. Я его почти не помню. Он умер, когда мне было три. Мама говорила — он после войны остался в Калининграде. Работал на комбинате. В Янтарном. Мастером. — Я помолчала. — Я никогда не спрашивала, кем он был. Он был дедушка Коля. Я помню только, что у него были очень большие руки, и что он давал мне смотреть на солнце через кусок янтаря.

Папасмотрел на меня.

— Через кусок янтаря, — повторил он.

— Да.

Маяк мигнул.

* * *

Мы легли поздно.

Я не спала. Лежала, смотрела в потолок. Маяк проходил по потолку раз в одиннадцать секунд — белой полосой, слева направо. Я считала полосы.

Двадцать один.

Не двадцать два.

Ирэна Келлер. Бывшая жена Штерна.

«Наследие». «Кустос». «Нордлихт» в двенадцати милях от Янтарного.

Запрос в архив. На фамилию Ланской.

Кто-то искал нас. Не на острове. В прошлом. В архивах. В корабельных журналах. В личных делах рабочих янтарного комбината, умерших тридцать лет назад.

И кто-то — Андрей — нашёл нас раньше. И прислал янтарь. И написал: «Янтарь — нет».

Не молчит.

— Соня, — сказал папа в темноте. Он тоже не спал.

— Да.

— Ты хочешь знать.

Это был не вопрос.

Я долго молчала.

— Двадцать один год, — сказала я наконец. — Двадцать один год я считала, что он лежит на дне Бискайского залива, на глубине четыре тысячи метров, в трюме с удобрениями. Я привыкла. Я научилась с этим жить. Я научилась не думать. Если перестанешь считать — придётся думать. — Я помолчала. — А теперь не могу. Не могу не думать.

— Значит — хочешь знать.

— Значит — должна.

Он повернулся ко мне. Нашёл в темноте мою руку.

— Тогда — едем, — сказал он.

— Куда?

— Туда, где спрашивают про Ланских. — Он помолчал. — Сначала в Кириллов. К Ветлугину. Он сорок один год просидел в архивном отделе. Если кто-то в этой стране знает, что такое Балтийская линия, — то он.

— Какая линия?

— Не знаю, — сказал папа. — Но ты помнишь людей, которые помогали нам переезжать? Тот раз, когда не Гиви и не Константин. Тихие. Неприметные. Появились, когда было нужно, — и исчезли. Ты тогда сказала: это тоже стражи. Других дверей. Других архивов. И что их больше, чем кажется.

— Помню.

— Твой прадед, — сказал папа, — работал мастером на янтарном комбинате. Твой отец сидел с красной лампой и куском янтаря и говорил «Ромове». А в Янтарной комнате, если светить красным, горят одиннадцать кусков. — Пауза. — Соня, я геодезист. Я не верю в совпадения. Я верю в точки, через которые можно провести прямую.

Маяк прошёл по потолку.

Одиннадцать секунд.

— Лёва, — сказала я.

Папа замолчал.

Ты спал в своей кроватке, у стены, под медным колокольчиком Наны. Раскинув руки. Как будто летишь.

— Лёва, — повторила я.

Мы оба знали, что это значит.

Мы не могли взять тебя с собой.

Глава 4. Колокольчик

О

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.